

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ

<отрывки; о Ломоносове, Сумарокове, Тредиаковском, Радищеве>

В конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым. Радищев

имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе *Росского Пиндара*. Достоин замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой безумной дерзостью. Он более тридцати страниц наполнил пошлыми похвалами стихотворцу, ритору и грамматiku, чтоб в конце своего слова поместить следующие мятежные строки:

Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он вои́ти во храм не мог. Бакон Веруламский недостоин разве наименования, что мог токмо сказать, как можно размножить науки? Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всеилie для того, что не могли избавить человечество из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова, для того, что *не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпосе, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проныцателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей.*

Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но в сем университете профессор поэзии и элоквенции не что иное как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полу-славенская, полу-латинская, сделалась было необходимою: к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею и гораздо более заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высокопозоржественный день тезоименитства и проч. С каким презрением говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, об этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает!.. Зато с каким жаром говорит он о науках, о просвещении. Смотрите письма его к Шувалову, к Воронцову и пр.

...Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бешенством. Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он дирил за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть. Не многим известна стихотворная перепалка его с Дмитрием Сеченовым по случаю *Гимна бороде*, не напечатанного ни в одном собрании его сочинений. Она может дать понятие о заносчивости поэта, как и о петерпимости проповедника. Со всем тем Ломоносов был добродушен. Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана!⁵ В отношении к самому себе он был очень беспечен, и, кажется, жена его хоть была и немка, но мало смыслила в хозяйстве. Вдова старого профессора, услыша, что речь идет о Ломоносове, спросила: «О каком Ломоносове вы? не о Михайле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! бывало от него всегда бегали к нам за кофейником. Вот Тредьяковский, Василий Кирилович — вот этот был почтенный и порядочный человек». Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывает необыкновенное чувство изящного. В *Тилемахиде* находится много хороших стихов и счастливых оборотов. Радищев написал о них целую статью (см. собрание сочинений А. Радищева). Дельвиг приводил часто следующий стих в пример прекрасного гекзаметра:

Корабль Одиссеев.
Бегом волны дея, из очей ушел и сокрылся.

Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков верно не стоят Тредьяковского. — *habent sua fata libelli*.*

Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут же извиняет его. Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарною хвалою; он без обиняков называет благодетеля своего графа Шувалова своим благодетелем; он в

* Книги имеют свою судьбу (латин).

какой-то придворной идиллии воспевает графа К. Разумовского под именем Полидора; он стихами поздравляет графа Орлова с возвращением его из Финляндии; он пишет: *Его сиятельство граф М. Л. Воронцов по своей высокой ко мне милости изволил взять от меня пробы мозаических составов для показания ее величеству.* — Ныне все это вывелось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостью и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, *представителю муз, высокому своему патрону*, который вздумал было над ним пошутить. «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у господ моего бога дураком быть не хочу».*

В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от Академии!» — «Нет, — возразил гордо Ломоносов, — разве Академию от меня отставят». Вот каков был этот униженный сочинитель похвальных од и придворных идиллий!

...Радищев, будучи нововодителем в душе, силился переменить и русское стихосложение. Его изучения *Тилемыхиды* замечательны. Он первый у нас писал древними лирическими размерами. Стихи его лучше его прозы. Прочитайте его *Осьмнадцатое столетие, Сафические строфы*, басню или, вернее, элегию *Журавли* — все это имеет достоинство. В главе, из которой выписал я приведенный отрывок, помещена его известная ода. В ней много сильных стихов.